

«ИНОЕ ЦАРСТВО» И ЕГО ИСКАТЕЛИ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

[1]

Попытка узнать душу народа в его сказке сталкивается в особенности с одним препятствием — национальное в сказке почти всегда вариант общечеловеческого. То и другое нераздельно, поэтому отличить общее всем народам от элементов индивидуального, самобытного творчества данного *народа* всегда бывает очень трудно. Трудность усугубляется тем, что в качестве ценности *общечеловеческой* сказка не прикреплена неподвижно к месту. Она странствует, передается от народа к народу.

Неудивительно, что в русской сказке воспроизводятся общечеловеческие мотивы. В известном сборнике А. Н. Афанасьева, в параллель к русским народным сказкам, приводится великое множество славянских, немецких, скандинавских вариантов на те же темы: цитируются, хотя в небольшом количестве, варианты итальянские, арабские, даже индийские. Есть общие многим народам излюбленные сюжеты. Мы находим в них под различными именами одни и те же типы героев, одни и те же чудесные превращения и волшебные предметы, множество общих представлений о чудесном и в особенности одни и те же магические задания. Обыкновенно эти общие представления объясняются наличием единого мифологического предания, зародившегося еще до разделения индоевропейских народов. Вряд ли, однако, это объяснение представляется исчерпывающим: общее выражается не в одних языческих преданиях, предшествующих разделению народов. Встречаются поразительные совпадения позднейшего происхождения, например общие варианты одних и тех же христианских сказок у

народов, принадлежащих к различным христианским вероисповеданиям [2].

Национальность оказывается здесь лишь ветвью общечеловеческого ствола. Этим не исчерпываются те трудности, с которыми сталкивается исследование сказки как памятника национальной культуры. В сказке есть не только *сверхнародное*, но и *сверхвременное*. В ней есть множество исторических наслоений, отражений различных исторических эпох, весьма отдаленных друг от друга. И рядом с этим в сказке есть общие всем историческим эпохам представления о чудесном, доисторическое в ней часто является рядом с современным. То в ней богатырь назначается губернатором [3], то богатыри расстреливают бабу-ягу из ружей [4], в качестве действующих лиц в ней появляются рядом с фигурами легендарными «сенаторы» (119), курьеры <1928 — «кульеры»> и офицеры (69), жандармы; иногда упоминается о «публикациях» и газетах. И тем не менее волшебная сущность сказки, унаследованная от глубокой древности, остается неизменна. Магическое предание необычайно устойчиво и потому вторжение новых форм быта не вытесняет из сказки волшебного: последнее сохраняется на всех ступенях культуры. Из века в век повторяются у различных народов одни и те же сказания.

Единство происхождения индоевропейских племен не объясняет здесь самого важного и интересного — сохранения у всех народов и во все века излюбленных сказочных образов. Образы эти не сохранялись бы памятью народной, если бы они не выражали собою непреходящих, *не умирающих ценностей человеческой жизни*. Запоминается и передается из поколения в поколение только то, что так или иначе *дорого* человечеству. Самая устойчивость сказочного предания доказывает, что сказка заключает в себе что-то для всех народов и для всех времен важное и нужное, а потому незабываемое. Мы постараемся выяснить здесь главнейшие из этих духовных ценностей, насколько можно о них судить по русской народной сказке.

I. От бедности к богатству. «Иное царство»

Есть в этой сказке образ, в котором ясно обнаруживается основной мотив, движущий нерв всего сказочного творчества. Жили–были старик со старухой в великой скудности и бедности. Раздобыл старик краюшку хлеба для себя и семьи и только было начал ее резать, как «вдруг из-за печки выбежал Кручина, выхватил из рук его краюшку и ушел опять за печь». Сколько ни молил старик, отнятого обратно не получил, но приобрел взамен иной, *волшебный дар*. Сказал в ответ старику Кручина: «Я тебе краюшки твоей не отдам, а за нее подарю тебе уточку, которая всякий день будет весть по золотому яичку» [5].

От бедности и скудности жизни происходит все наше человеческое искание неизреченного, волшебного богатства. От начала и до конца сказки — дитя нашей кручины и печали. Об этом говорят бесчисленные сказочные образы; об этом поет и песня народная; горе — стимул всех магических превращений.

Повернулся добрый молодец ясным соколом,
Поднимался выше леса под самые облака,
А горюшко вслед черным вороном
И кричит громким голосом:
Не на час я к тебе Горе привязался,
Падет добрый молодец на сыру землю.
Повернулся добрый молодец серым волком,
Стал добрый молодец серым волком поскакивать,
А Горюшко вслед собакою.

Одна забота в особенности служит двигателем сказочных подвигов, одна «дума глубокая», — как разогнать злую кручину, чем жить поживать» [6]. На такое происхождение сказки указывают и любимые имена сказочных героев. Есть, например, целая сказка «О Горегорянине Даниле–дворянине»: «Жил он у семи попов по семи годов, не выжил он ни слова гладкого, ни хлеба мягкого, не то за работу получил, и пошел он в *новое* (вар.: иное) *царство лучшего места* *искать*» [7]. «Иного царства» и «нового места» ищут все

неудовлетворенные жизнью: имена их на языке у всех сказителей. Это Данило Бессчастный [8], несчастный Василий Царевич [9], да купеческий сын, не нашедший в жизни счастья и зато высочайше удостоенный особого наименования: пожалел его сам царь, не стал наказывать за содеянную им вину; «назвал его Бездольным, велел приложить ему в самый лоб печать, ни подати, ни пошлины с него не спрашивать и, куда бы он ни явился, накормить его, напоить, на ночлег пустить, но больше суток нигде не держать» [10]. В числе этих обиженных судьбою есть несчастные по разным причинам: бедные в буквальном смысле, притесненные и обиженные, жертвы ненависти злой мачехи, жертвы зависти сестер, братьев и вообще лихих людей. Есть и многообразные представители нищеты духовной, а в их числе народный любимец — дурак, тип особенно часто встречающийся, потому что, по выражению сказки, «Бог дурней жалует» [11].

Уход от гнетущей человека бедности жизни, подъем к неизреченному богатству чудесного в связи с исканием «инога царства» есть общая черта всех веков и всех народов. Истина эта открылась уже в древности Платону, который учил, что Эрос, рождающий красоту, есть дитя бедности и богатства. Соответственно с этим несчастный, обездоленный и дурак занимают в сказках всех народов видное и почетное место. Национальная окраска проявляется лишь в конкретном изображении этих героев, в конкретном понимании той бедности, от которой они ищут спасения, и того богатства, в котором они его находят.

В русской сказке необыкновенно ярко и образно отражается психология русской народной печали. Возвращается бедняк с богатых именин, где его обнесли кушаньями, и пробует затянуть песню, чтобы казаться людям веселым. Поет-то один, а слышно два голоса, остановился и спрашивает: «Это ты, Горе, мне петь подсобляешь?» Горе отозвалось: «Да, Хозяин, это я подсобляю». «Ну, Горе, пойдем с нами вместе». «Пойдем, хозяин, я теперь от тебя не отстану». И ведет Горе хозяина из беды в беду, из кабака в кабак. Пропивши последнее, мужик отказывается: «Нет, Горе, воля твоя, а больше тащить нечего». «Как нечего? У твоей жены два сарафана: один оставь, а другой пропить надобно». Взял мужик сарафан, пропил и думает: «Вот когда чист! Ни кола, ни двора, ни на себе, ни на жене» [12]. И вместе с

мужиком сказочное воображение изыскивает способы избыть это горе. Бедность жизни ощущается людьми по-разному, соответственно различию в настроении, в жизнепонимании и в особенности — в душевном строе. Души низменные отождествляют ее с бедностью в буквальном смысле слова, т. е. со скудностью материальных средств. Отсюда рождается та вульгарная, приземистая сказка, для которой искомое «иное царство» есть в общем идеал сытого довольства. Такое настроение всего лучшего характеризуется теми жирными, дразнящими аппетит «присказками», которыми начинаются у нас многие сказки. «На море — на окояне, на острове Буяне стоит бык печеный, в задку чеснок толченый; с одного боку-то режь, а с другого макай да ешь» ^[13]. Для вульгарного жизнечувствия искомое «иное царство» страна с молочными реками и кисельными берегами, «где много всякого рода налитков и наедков». Но такое жизнепонимание характеризует лишь нижний, *житейский* уровень сказки, тот первый ее этаж, где волшебное в собственном смысле еще не начинается. Для более высоких ступеней духовного подъема вкусное и жирное — только предисловие к магическому. «Были мы, братцы, у такого-то места, наедались пуще, чем деревенская баба теста. Это — присказка, а сказка будет впереди» ^[14]. Для сознания более глубокого бедность и скудность — общее свойство всего вообще житейского. Эта черта присуща всему земному вообще, независимо от степени сытости и довольства. Те избранные души, коими создаются высшие ценности сказочного творчества, не находят в серой обыденщине человеческой жизни ни подлинного добра, ни подлинного худа.

Обыденная жизнь отталкивает их именно тем, что в ней все *относительно*, а потому самому все нудно и бесцветно. Об этом говорят множество вариантов сказки «Худо, да хорошо». Спрашивает барин мужика, зачем он в город ездил? Тот отвечает: «За покупкою дорогою, за мерою гороха. — Вот это хорошо! — Хорошо, да не дюже. — А что же? — Ехал пьяный, да рассыпал. — Вот это худо! — Худо, да не дюже. — А что же? — Рассыпал-то меру, а подгреб-то две! — А вот это-то хорошо! — Хорошо, да не дюже. — Да что же? — Посеял, да редок. — Вот это худо! — Худо, да не дюже. — А что же? — Хоть редок, да стручист. — Вот это хорошо! — Хорошо, да не совсем! — А что же? — Поповы свиньи повадились горох топтать, топтать, да и вытоптали». Так не находит мужик подлинного добра или худа ни в

горохе, ни в свиньях, ни в сторожевых псах, ни в рыжей корове, — *ни в чем вообще житейском* [15]. Дальше нам придется встретиться со сказочными героями, которые презирают золото, не находят себе удовлетворения даже на высших ступенях житейского благополучия. В них мы найдем подлинную душу сказки. В сказке выражается *подъем к чудесному над действительным*. Этим и объясняется тот факт, что житейский аппетит в ней всегда обманут. Конец сказки заключает в себе некоторое для него разочарование. — «И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало». Но, с другой стороны, именно в этом житейском разочаровании — тайна иного, высшего очарования этого — сказочного хмеля.

Сказка не насыщает; но именно поэтому ею нельзя пресытиться. Именно этот подъем над житейским делает ее нужною всем народам, всем ступеням культуры. Лучшее доказательство мы — взрослые, образованные люди, в том числе и те, которые воображают, что они переросли сказку. Много ли останется от нашей поэзии и от нашей музыки, если выкинуть из них сказку и сказочное? В этом лучшее доказательство того, что в сказке зарыто какое-то великое сокровище, без которого мы обойтись не можем. Здесь вспоминаются мне слова старого и почтенного немца: «Мне за пятьдесят лет, а между тем я до сих пор не могу видеть без захватывающего радостного волнения первого появления Лоэнгрин по зову Эльзы». Всем нам нужны такие радостные волнения: без этого свежего подъема к чудесному самая жизнь была бы нам невыносима. Вся сила чарующего действия волшебной оперы именно и заключается в том, что она вновь делает нам доступной радость сказки. Нам предстоит здесь выяснить, в чем содержание и смысл этой радости.

II. Воровской идеал. Сказка в роли социальной утопии

Все мы люди ищем «лучшего места» в мире земном или в мире надземном, но при этом всякий предъявляет к этому лучшему месту свои требования, соответствующие его настроению, наклонностям и жизненному идеалу. В числе искателей «иногo царства» есть люди низшего, высшего и среднего духовного уровня: все оставили в сказке свои следы, выразили в ней свою особенную мечту о лучшем мире. Я начну с того грубого и вульгарного жизненного идеала, который не поднимается над житейским материализмом; как сказано, он заполняет нижний этаж сказки.

Самое элементарное проявление этого жизнечувствия — мечта о богатстве, которое само собою валится в рот человеку без всяких с его стороны усилий. Тема эта развивается в многочисленных сказках, коих героями являются всегда бедные, неимущие. Есть, например, типичная сказка о «хитрой науке»: бедной старухе «захотелось отдать сына в такую науку, чтобы можно было ничего не работать, сладко есть и пить и чисто ходить». Сколько ни пытались люди уверить старуху, что такой науки нигде в целом свете не найдешь, она все свое, продала избу и говорит сыну: «Собирайся в путь, пойдем искать *легкого хлеба*» [16]. «Легкий хлеб» — вековечная мечта человеческой лени; естественно, что народная сказка с любовью останавливается на наиболее простом способе его добывания — *на воровстве*. Сказки воровские имеются у всех народов [17]. Воровство играет большую роль в языческих мифологиях; всем известен, например, греческий бог — покровитель воровства — Гермес. А в немецком сказании о Нибелунгах все воруют друг у друга золото Рейна, и боги и смертные; на этом основано проклятие, коему подпадает обладатель этого золота. По Афанасьеву, «сказка, как создание целого народа, не терпит ни малейшего уклонения от добра и правды», «требует наказания неправды и представляет добро торжествующим» [18], но это замечание находится в полном противоречии с множеством сказок, им

же собранных. Как раз в русской сказке сочувствие лепи и воровству граничит с апофеозом лентяя и вора.

Сказка хорошо знает, что искатели дарового богатства легко попадают в плен к самому черту. Ему отдается на обучение и тот сын старухи, о котором только что шла речь. Черт оборачивает его в скворца, показывает его вместе с другими скворцами его матери и читает ей наставление: «Знай же, все это люди, а не скворцы; все так же по-твоему искали легкого хлеба, да навсегда у меня и остались». Скворец спасается из плена не добродетелью, а хитростью [19]. И это в сказке — обычный путь. Есть сказка о плуте-батраке, который самого нечистого перехитрил [20], есть другая об Иванко Медведко, который обманом добыл у беса золото [21], есть и третья об отставном солдате, который за деньги нанялся на службу к черту: без денег, думает, плохое житье; хоть у черта, все что-нибудь да заработаю [22]. Главный вдохновитель разнообразных сделок с нечистым и с собственной совестью — родная лень, отвращение к труду. Образное выражение жизнечувствия лентяя дается сказкой о семи Семионах: «В одном месте у мужика было семь сынов, семь Семенов — все молодец молодца лучше, а такие лентяи-неработицы, во всем свете поискать, — ничего не делали». — Спросил однажды этих молодцов царь: «чего они умеют делать». Старший так прямо и отвечал: «воровать, ваше царское величество». Прочие братья назвали иные специальности, но самым из них полезным оказался старший: он украл царю невесту. И счастье вознесло вора выше царя. — Царь-то стар был, «а вор Сенька был бравый детина, царевне приглянулся». На вопрос, за кого она хочет замуж, она ответила: «за того, кто меня воровал» [23]. Вообще счастье в сказке неизменно сопутствует лентяю и вору. Крайним выражением апофеоза лени служит сказка о Емеле-дураке. Он проводит время в лежании на печи и на всякое предложение пальцем повернуть для какого-либо дела неизменно отвечал: «Я ленюсь». Но ему достается волшебная щука, которая исполняет все его желания. И он пользуется ее услугами единственно для того, чтобы все делалось *само собой*, без всякого с его стороны труда. «По щучьему велению, по моему прошению, ступайте ведра сами в гору», и ведра идут в гору. «По щучьему велению, по моему прошению, ну-ка, топор, поди наруби дров, а вы дрова сами в избу идите и на печь кладитесь»,

и «по щучьему велению, сани ступайте сами в лес». И по щучьему велению топоры рубят, не запряженные сани едут в лес, а дрова сами попадают в печь [24].

Услуги магии не всякому доступны, и дар «щучьего веления» достается людям в удел сравнительно редко. Волею–неволею приходится осуществлять идеал лентяя теми естественными способами, которые всем по плечу. Об этих способах говорят разнообразные варианты сказки о воре. Старик и старуха ведут сына в город «в науку отдавать»; и попадает он на обучение к мастеру вору, который дает своему мастерству характерное определение — «я ночной портной: туда–сюда стегну, шубу с кафтаном за одну ночь сошью». В результате обучения получается такой художник воровского искусства, который знает, как у сороки яйца украсть, как с живого человека штаны снять, и даже как на глазах у барина — украсть барыню [25]. Сочувствие воровству и вору замечается не в одних только сказках низшего сорта: воровством промышляют и сказочные герои более высокой категории, богатыри и царевицы. Юная аудитория, которая восхищается, например, сказкою о Иване–Царевиче, не отдает себе отчета в том, что любимые подвиги этого и многих других героев — добывание жар–птицы, гуслей–самогудов и прекрасной царевны, большею частью основаны на воровстве. Здесь вор не замечается слушателями сказки потому, что воровство заслоняется общим подъемом над житейским, и вор принимает облик рыцаря, совершающего чудесные подвиги. Есть сказки, где хищения облакаются таинственным волшебным покрывалом, но есть и другие, выражающие низшую ступень нравственного сознания, где воровство, ничем неприкрытое и не приукрашенное, нравится само по себе как «художество» и как наука устройства лучшей жизни.

Неудивительно, что этот воровской идеал находится в самом тесном соприкосновении с социальной мечтою простого народа. Есть эпохи народной жизни, когда все вообще мышление народных масс облакается в сказочные образы. В такие времена сказка — прибежище всех ищущих лучшего места в жизни и является в роли социальной утопии.

Я уже говорил о том, какое видное место отводится в сказке бедняку и его жизненному идеалу. Мечтания бедняка в русской сказке

нередко носят определенную классовую окраску. Там мужик жалуется на барина:

«Правдой век прожить не сможешь: кривдой жить вольготней. Вот и наше дело: бесперечь у нас господа дни отнимают, работать на себя некогда» [26]. И невольно сказочная мечта стремится возвести бедняка над знатью, над купцами, вообще над господами. Эта мечта принимает разнообразные формы: то волшебный корабль совершает для царя чудесные подвиги, и царю доносят, что «на корабле нет ни одного пана, а все черные люди», и «черный человек» оказывается наиболее достойным женихом для царевны; то сказка заводит речь о батраке, который нанялся к купцу безденежно, за право дать хозяину по окончании года «щелчок и щипок». Прослужил батрак у купца целый год, дал ему щелчок в лоб, только и жил купец. Батрак «взял себе его имя и стал жить, поживать, добра припасать, лиха избывать» [27]. В других случаях «простой человек» — богатырь посрамляет подвигом силы и мужества всех думных бояр [28]. В сказке о двух Иванах рассказывается, как солдатские сыновья скоро научились грамоте «и боярских и купеческих детей за пояс заткнули» [29]. Простой горшечник побеждает в разгадывании загадок всех бояр [30], а солдат — купцов [31].

Большое внимание уделяется сказкой и жизненному идеалу простого человека, который очерчивается довольно яркими штрихами. Это прежде всего мечта о том веселом житье, которое олицетворяется царским пиром: «свадьба королевича была веселая, все кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого народа безденежно» [32]. В сказке о безногом и слепом рассказывается, как царь поручил мужику добыть ему невесту «краше солнца» и посулил за то сделать его первым министром, но наперед разрешил мужику «погулять», выдал ему «открытый» лист за своим подписом, чтобы во всех трактирах и харчевнях отпускали ему безденежно всякие напитки и кушанья. Мужик прогулял три недели [33]. Этот народный разгул вообще одна из любимых тем русской сказки; вся социальная утопия сказки окрашивается прежде всего стремлением наесться и напиться вволю. Наиболее типическим выражением этой утопии является в особенности одна сказка, где героем является солдат-дезертир и... экспроприатор.

Был у старика и старухи сын Мартышка, «работы никакой не работал» и за безделие был отдан отцом в солдаты. На службе ему не повезло, ушел он самовольно с часов, поставил ружье на полку, щелкнул фельдфебеля «шариком в лоб», за что и был жестоко наказан розгами. Под впечатлением этого наказания он получил во сне откровение: «сбеги, Мартышка, в другое королевство, там тебе жизнь будет добрая. Дойдешь ты до этого королевства, и будет тут речка, через речку мост, а подле моста трехэтажный каменный дом; зайди в этот дом, в том дому никого нет, а стоит стол, на столе довольно всякого кушанья и разных напитков; — наешься ты, напейся и в стол загляни; в том столе в ящичке лежат карты однозолотные и кошелек с деньгами. Однозолотными картами хоть кого обыграешь, а из кошелька хоть полную гору насыпь золота, из него все равно не убудет». Мечта об «ином королевстве» сбылась буквально. Мартышка присвоил себе чужой дом, взял чужой кошель и карты. Отсюда — начало наполеоновской карьеры солдата. Отправился он в трактир, куда министры да генералы ходят и сам король приезжает, ударил маркиганта по лицу, стал водку пить, сыпать деньгами из кошелька да генералов угощать. Доложили генералы о Мартышке самому королю. Стал король Мартышку водкой угощать: «Опохмелься, мол, служивый». А тот ему в ответ: «Пейте сами, ваше величество, мне и своих денег не пропить будет». После того обыграл солдат короля в карты, выиграл у него все деньги, платье и лошадей с каретою, да кучера с фалетуром и запятником; «опосля ему все взад отдал». Кончил свою карьеру Мартышка королевским любимцем и «набольшим министром»; уезжая в другую землю, поставил [его] король вместо себя править королевством. «И повел Мартышка по своему: приказал он шить на солдат шинели и мундиры из самого царского сукна, что и офицеры носят, да прибавил всем солдатам жалованья — кому по рублю, кому по два и велел им перед каждой вытью (едою) пить по стакану вина и чтобы говядины и каши было вдоволь. А чтоб по всему королевству нищая братья не плакалась, приказал выдавать из казенных магазинов по кулю и по два на человека муки. И так-то за его солдаты и нищая братия Бога молят» [34].

Мечта простого народа о царстве вообще неоднократно выражается русской сказкой; повесть о том, как мужик стал царем, там повторяется

не раз» [35]. Это — Царь «такой добрый для подданных, особливо для солдат» [36]. Те же демократические требования предъявляются и королям недемократического происхождения. Сказка рассказывает о загробных мучениях недоброго к простому народу короля: на нем черти дрова возят и погоняют его дубинками. На вопрос солдата о его житье–бытье на том свете король отвечает: «Ах, служивой! Плохое мое житье. Поклонись от меня сыну, да накрепко ему моим именем закажи, чтобы не обижал он ни черни, ни войска; не то Бог заплатит!» [37] Несчастный, обиженный судьбою и людьми, обращается к царю с вопросом: «Отчего мне Счастья нет?». И сказка признает царя обязанным войти в рассмотрение этого вопроса [38]. Но больное место сказки, особый предмет ее забот — солдат, потому что ему исключительно тяжело живется. Сказки в сборнике Афанасьева, которые собирались в пятидесятых и шестидесятых годах, полны местами солдата николаевской эпохи. И тип дезертира встречается здесь нередко в связи с жалобой на чрезмерную тяжесть службы: приходится служить царю двадцать пять лет [39], а за тяжкие проступки в полку «сквозь строй загоняют». Даже исправному солдату приходится «то и дело под палками отдуваться» [40]. Вот почему уже в те времена в народной душе шевелится мечта о солдате–министре, а короле–мужике и в особенности об «ином царстве», где солдат и мужик находят недостающее им благополучие. Характерно стереотипное начало повести о дезертире — искателе лучшего места, о его чудесных приключениях и подвигах, где чёрт является то врагом, то другом. «И пошел он, добрый молодец, куда глаза глядят. Много ли, мало ли шел, пробрался в иное государство» [41]. Венцом этой солдатской и мужицкой мечты является образ простолюдина, который, по завершении опасных и трудных подвигов, от ран «скоро поправлялся, зелена вина напивался, заводил пир навесь мир; а по смерти царя начал сам царствовать, и житие его было долгое и счастливое» [42].

Экономический материализм, для которого всякая идеология, в том числе и сказочная, представляет собою «отражение экономических отношений в человеческих головах», мог бы найти в сказках этого рода богатый материал для своих построений. Но было бы глубоко

ошибочно сводить всю сказку к этой вульгарной мечте о материалистическом рае.

Есть в сказке иное, высшее вдохновение, которое поднимается над житейским; в сказках, где чувствуется этот подъем, мы не найдем отзвуков классового антагонизма и классовых вожделений. Есть сказки, где прямо осмеивается этот приземистый идеал житейского благополучия. Таков, например, юмористический рассказ о лисе–лекарке [43]. В нем идет речь о старике, который залез на небо и видел там пироги, ватрушки да горшки с кашей. Наелся старик, напился — и спать повалился; потом проснулся и потащил на небо свою старуху. Есть и другой рассказ о мужике, который вырастил горошину «до небушка», влез туда и нашел на небе «среди хором печку, а в печке и гусятины, и поросятины, и пирогов видимо–невидимо. Одно слово сказать, чего только душа хочет, все есть». Сказка предвидит трагикомический конец этого призрачного подъема, который неизбежно приводит к падению. Не нашел мужик с этого жирного и сладкого неба обратного пути на землю, свил веревку из летавшей в воздухе паутины и начал спускаться. «Спускался, спускался, — хватъ, — веревочка вся, а до земли еще далеко, далеко: он перекрестился и бух! Летел, летел и упал в болото». Так бы и остался мужик в болоте, кабы не вытянула его оттуда утка. История этого падения оканчивается юмористическим четверостишием:

Не то чудо из чудес,
Что мужик упал с небес,
А то чудо из чудес,
Как туда он влез [44].

Сказки, где так или иначе высказывается или вышучивается житейская мечта русского простолюдина, наиболее близки к русской действительности. <Нужно ли удивляться, что эти сказки полны образов, которые уже стали действительностью. На наших глазах осуществилась утопия бездельника и вора и мечта о царстве беглого солдата. Захватывают «трехэтажные дома», и чужие кошельки; печатный станок уже давно воплотил в жизнь мысль о кошеле неистощимом, кругом мелькают сапоги–скороходы да ковры–самолеты; все они полны ворами да беглыми солдатами, а дезертир

успешно проходит в «набольшие министры», и вместо царя правит царством.>

Предсказан в сказке и конец этого счастья. Мы стоим лицом к лицу бессмертным образом разбитого Корыта; есть и другой, только что упомянутый, достойный стать с ним рядом. *<Это образ мужика, обманутого сладкою метою и не находящего пути для благополучного возвращения от утопии к действительности. Его удел — болтаться между небом и землей на фантастической веревке из тонкой паутины; а неизбежный конец его странствий — топкое и грязное болото.>* Какая утка его оттуда вытянет, мы пока не знаем, но самый образ этой утки — тоже нам родной и хорошо знакомый. Разве мало в русской жизни парадоксальных выходов из безвыходных положений? Выходы эти не поддаются ни учету, ни предвиденью; а потому и говорить о них можно только сказочными образами, где стерта грань между былью и небылицей.

III. Подъем в «иное царство» и дальний путь в запредельное

На все лады повторяются и варьируются в сказке рассказы про «иное государство» (№ 165), «другое царство» (№ 68), ««иное царство» (№ 79), «иные земли» (№ 135). Ищут этих новых земель все те, кому так или иначе тесно в рамках быта. Но есть точка, где ищущие разделяются. Одни удовлетворяют потребности в «новой земле» «естественными житейскими способами» другие, напротив, преисполняются отвращением ко всему обыденному, житейскому и испытывают непреодолимое влечение к чудесному.

Это влечение выражается в сказке во множестве образов. Люди, им одержимые, сталкиваются с сопротивлением родных. Старики–родители плачут горькими слезами и упрашивают сына, «чтобы он пожил у них хоть малое время». Но он непреклонен к мольбам изъясляет в ответ на слезы: «Ежели вы меня не отпустите, то я и так от вас уйду». Так начинается, например, рассказ об Иване — крестьянском сыне: «Пошел он со своего двора «куда глаза глядят». И шел он ровно десять суток и пришел в некое государство» [45]. Идет «куда глаза глядят» искать другое царство и Иван–Царевич; о другом сказочном герое–страннике говорится просто, что он «вздумал *чево итти в дорогу*» [46]. Дурак на вопрос, зачем он идет, отвечает: «А Бог его знает» [47], другой дурак — народный любимец Ванюшка, долго лежавший на печке и отлежавший на ней бока, ни с того ни с сего вдруг кричит старшим, «умным» братьям: «Эх вы, тетери, отпирайте двери; *хочу итти туда — сам не знаю куда*» [48].

Искателей чудесного манит самая неизвестность искомого, и оттого они так часто сами не знают, куда идут и чего ищут. Преклонение перед мудростью «незнания» составляет неожиданную черту сходства между философией Сократа и сказкой всех народов.

Неизвестное есть вместе с тем и *дальнее*; неудивительно, что для обозначения отдаленности «иного царства» в сказке имеется множество образных выражений. Оно называется то «тридесатым», то

«трехсотым» государством. По одной версии, ехать туда нужно «тридцать дней и тридцать ночей» [49] по другой, «кривой дорогой три года ехать, а прямой — три часа; только прямо-то проезду нет» [50]. Туда устремляется вихрь, заносивший «неведомо куда» [51]. Поэтому на вопрос: «сколь далеко до нового царства», южный ветер отвечает: «пешему тридцать лет идти, на крыльях десять лет нестись, а я повею — в три часа доставлю» [52]. Есть и другие, еще более образные обозначения этого расстояния. Искомое царство от нас «за тридевять земель»; это тот «край света, — где красное солнышко из синя моря восходит»; и от того-то обительница этого чудного предела земли — вещая невеста Василиса Премудрая, испытывает тоску по синему морю, когда попадает в наши края [53]. Воображению, подымающемуся над житейским к магическому, «иное царство» вообще рисуется как светлая солнечная полоса за горизонтом, «страна, где ночует солнце». У Костомарова передается рассказ южнорусской сказки о том, как ездил Ивась в терем солнца, построенный над синим морем, и спрашивал: зачем оно три раза переменяется. Солнце отвечало: «Есть в море прекрасная Анастасия; когда я восхожу утром, она брызгнет на меня водою — я застыжусь и покраснею; потом, поднявшись на высоту, я посмотрю на Божий свет — и мне станет весело; а вечером, когда я захожу, Анастасия снова брызгнет на меня морскою волною — и я опять покраснею» [54].

Влечение к пределу, где кончается земля и начинается чудесная солнечная сторона — свойственно не одной только русской сказке, а сказке всех времен и всех народов. Исследователи, разумеется, имеют основания находить в этом образе «иного царства» остаток древнего солнечного мифа. Но нас интересует здесь не солнечное происхождение сказочных образов, а та непреходящая, человеческая их сущность, благодаря которой народная фантазия хранит и бережет их в течение многих веков после утраты веры в божественность солнца.

Есть одно неумирающее, всем векам и народам общее переживание мистического опыта, которое неизменно вызывается в нас закатом и восходом солнца. Это появление и исчезновение дня на нашем горизонте представляет собой естественное напоминание о *неумирающем дне* за краем земли, за пределами видимого нами

земного круга; в этой таинственной дали полнота света и полнота жизни сохраняется и тогда, когда все земное погружается во мрак ночной или окрашивается унылыми, беспросветно серыми тонами, для сознания языческого страна, где ночует солнце, есть область подлинного бытия и подлинной жизни. А для сознания, поднявшегося над языческим боготворением солнечной стихии, те же величественные явления заката и восхода суть естественные символические напоминания о какой-то запредельной славе. Это вечные возбудители восторженного настроения, духовного и в особенности сказочного подъема.

Нет ничего, что в большей степени вызывало тоску по «иному царству», чем серые однообразные тона нашей будничной прозы. Отвращение к этой жизни, где нет ни подлинного добра, ни подлинного зла, нередко заставляет людей искать не только света, но и тьмы.

Сказка знает и отмечает это опасное любопытство людей, не знавших горя, которые со скуки задаются вопросом: что я горя никакого не видал. Говорят: лихо на свете есть; пойду поищу себе лихо. И находят лихо, подпадают его власти и терпят от него горе [55].

Что же удивительного в том, что, побуждаемые теми же отталкивающими свойствами нашей призрачной жизни, люди с еще большею силою испытывают влечение в противоположную сторону, к неумиращему добру, к вечной красоте, к той светлой запредельной полосе, где не заходит солнце. Есть в сказке много свидетельствующих о силе этого стремления.

Чтобы достигнуть «нового царства», нужно совершить невероятные подвиги, преодолеть несчетные препятствия, и прежде всего — *бесконечное расстояние*, отделяющее нашу действительность от лучшего «волшебного мира».

Отсюда — волшебные способы передвижения и волшебные предметы, предназначенные для этой цели — ковры-самолеты и сапоги-самоходы: с теми или иными видоизменениями они имеются в сказках всех народов [56]. Но для достижения сказочной цели недостаточно вещественных орудий: для этого требуется содействие живых сил — тех вещей животных, которые, преодолевают тяжесть земную, поднимаются «повыше леса стоячего, пониже облака ходячего». Чтобы попасть в «иное царство», нужно взлететь под

небеса на крыльях орла или «моголь–птицы», а еще лучше *нестись на крыльях ветра*.

Недаром дается человеку содействие этих волшебных сил. Оно покупается тяжелыми жертвами — своего рода аскетическими подвигами. Чтобы вырастить крылья, которые поднимают его над землей, или приобрести нужную для этого помощь, человек должен быть готов отдать не только любимого коня, как в сказке о Иване–Царевиче, но и все свое достояние, последнее, что он имеет. А иногда и этого мало: чтобы долететь до цели, он должен *собственным телом подкармливать несущую его вещью птицу*.

Относящиеся сюда образы выражают собою одну из самых глубоких интуиций народной сказки. Есть, например, удивительный рассказ о том, как мужик (а подругой версии царь) хотел пристрелить раненого орла, но, вняв его просьбе, сжалился, взял в дом и кормил три года, скормил ему всю свою скотину, занимал у других и для этого проживался, на что и жаловалась его многочисленная семья. Три года (а по другой версии три дня) подряд пробовал орел подняться над землей и был не в силах. Наконец, по окончании срока кормления поднялся, опустился и молвил мужику: «Пора нам с тобой рассчитаться, садись на меня».

Сел мужик на орла, «орел взвился и полетел на сине море. Отлетел от берега и спрашивает у мужика: “Погляди да скажи, что за нами и что перед нами, что над нами и что под нами?”. За нами, — отвечает мужик, — земля, перед нами море, над нами небо, под нами вода». Орел встрепнулся, мужик свалился; только орел не допустил ему упасть в воду, налету поймал. Три раза мужик падал, на третий раз совсем было потонул, но каждый раз орел его поднимал и спрашивал: «Что за нами, что перед нами, что над нами, а что под нами». «И за нами море, и перед нами море, над нами небо, под нами вода». Вытащил орел мужика, посадил на себя и спрашивает: «Хорошо тебе тонуть было? Таково-то и мне было сидеть на дереве, как ты в меня из ружья целился. Теперь за зло мы рассчитались; давай добром считаться».

С житейской точки зрения все это кормление орла для неизвестной цели — чистейшее безумие; но слушатель сказки чувствует, что мужик вознагражден за свои тяжкие жертвы уже самой высотой своего полета, самым фактом этого могучего творческого подъема.

О человеке, погрязшем в своекорыстные будничные заботы, мелочи и дразги, говорит пословица: «и не далось свинье на небо поглядеть». Но тому, кто вырастил и подчинил себе орлиные крылья, открылась безбрежная синева неба и моря, открылась и бездна падения, стал понятен смертный страх» [57].

Заметим, что мы имеем здесь один из любимых образов русской сказки. Повесть о выращивании и выкармливании вещей птицы для полета повторяется в ней великое множество раз: то это орел, то это сокол, то кол–птица, то Моголь–птица. Сказания об этом полете весьма разнообразны, но основная интуиция в них всегда одна и та же: всегда этот взлет над действительностью приобретает великими, тяжкими жертвами и всегда он оправдывает эти жертвы, ибо он уносит человека в синюю лазурь от суеты, от бедности и скудности жизни.

Есть замечательный рассказ о том, как ездил на край света Иван–Царевич на Моголь–птице добывать невесту, «Ненаглядную Красоту». Кроме этой птицы никто в мире не знает туда дороги, а птица заявляет, что может туда доставить, рада услужить, да «много пропитания надоть». Иван–Царевич накупил быков, набил, наклал три сороковки говядины, да чан воды налил, сел на Моголь–птицу и полетел; скормил две бочки, за третью принялся, наконец «всю говядину скормил и бочки спихал, а моголь–птица все летит, оборачивается. Что делать, думает Царевич: вырезал из ног своих икры и дал птице; она проглотила, вылетела на луга зеленые, травы шелковые, цветы лазоревые и пала наземь. Видя, что охромел Царевич, выхаркнула птица икры, приложила к ногам его, дунула, плюнула, икры приросли, пошел Царевич и крепко и бодро добывать Ненаглядную Красоту» [58].

Мысль и в этой сказке — все та же, как и в предыдущей. Ненаглядная Красота отделена от будней нашей жизни бесконечным расстоянием и непреодолимыми преградами. Взлететь к ней, добыть ее может лишь тот, кто не останавливается для этого ни перед какими жертвами, кто готов ради нее *самого себя* отдать на растерзание. Образ Царевича, который скармливает птице собственное тело, чтоб достигнуть цели своего полета, опять-таки принадлежит к числу любимых в русской сказке и повторяется в ней не раз. Только цель полета не всегда одна и та же: в одних случаях это добывание вещей невесты, в других это возвращение из подземной глубины, «с того света», на свет Божий, но сущность подъема от тьмы к свету, от смерти

к жизни и от беспросветной тоски к светлой радости во всех случаях одна и та же. И из всех жертв, приносимые человеком для этой цели, вещей птице дороже именно та, которая ему всего труднее и больнее. Съевши всю говядину в дороге, птица–колпалица, несущая на хребте своем Царевича и Царевну, получает на съедение кусок ляхи Царевны; и молвит она в ответ: «Ну, всю дорогу вы меня хорошо кормили, но слаще последнего кусочка отродясь не ядала». И в этом ответе слышится не алчность, потому что съеденная икра по окончании пути неизменно возвращается ее обладателю и прирастает к его ноге: *цена подъема в небеса — не человеческое мясо, а человеческая жертва*. Пока эта жертва не принесена, птица всякий раз грозитя опуститься, не долетев до цели, на землю, под землю, а иногда в леса или в непроходимые болота [59].

Уже в этих образах, готовящих человека к восприятию чудесного «нового царства», мы имеем некоторое предварительное его откровение: царство это познается *в самом стремлении к нему*, в самом факте подъема над жизнью, ибо этот подъем невозможен без некоторого внутреннего озарения.

Человека окрыляет та цель, к которой он испытывает таинственное влечение. Неудивительно, что крыльям, побеждающим расстояние и тяжесть, отводится видное место как в мифологии, так и в сказочной символике всех народов. На крыльях поднимаются не одни вещие птицы, но и вещие человеческие существа, в особенности жены; крыльями наделяются и чудесные животные, четвероногие или ползучие, содействующие человеку в его влечении к свету и лазури, или, напротив, ему враждебные крылатые кони, крылатые волки и крылатые змеи. Победа над тяжестью есть тем самым и победа над материей. Вот почему и в религиозной и сказочной символике всех веков и народов крылья служат *образом одухотворения*.

В общении с крылатым и вещим сам человек одухотворяется, и это одухотворение выражается в чудесном расширении его горизонта. Когда мужик подымается на орлиных крыльях на ту высоту, откуда море кажется колесом, это значит, что он приобрел бесценный дар, тот мирообъемлющий взгляд, о котором говорит поэт:

И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад Морских подводных ход,
И дольней лозы прозябанье [\[60\]](#).

Тут есть коренное изменение в самом облике человека, и прежде всего — чудесное превращение в его мирочувствии. Сопоставьте видение синей лазури полет к Ненаглядной Красоте с жирной утопией солдата-дезертира. Там высота подъема и легкость духа; здесь — волчий аппетит и земная тяжесть. Обе сказки — создание простонародного мужицкого творчества. И однако в той и другой мы найдем не только иной взгляд на жизнь, но вместе с тем и *иную душу*.

IV. Тайна солидарности всей живой твари и ее откровение в сказке

Одно из величайших откровений этого сказочного полета *тайна всеобщей солидарности*, связующей человека со всей тварью поднебесною, общение с ней в страдании и в радости.

Человек обыденный, житейский, стоит на точке зрения борьбы за существование по отношению к низшей природе. Для него животные — либо вкусная пища, которую нужно съесть, либо орудия хозяйства, либо, наконец, враги, подлежащие истреблению.

Иное испытывает тот, кому стала доступна великая радость духовного подъема над житейским. Ему понятны страдания раненого орла, смертный страх вещей птицы и ее привязанность к жизни; он ощутил ее переживания как свои собственные, и оттого он может участвовать в ее полете.

Орел хочет, чтобы его любили, и за любовь расплачивается добром: горе тому, кто отказывает ему в любви. От собственных сестер орла требуется, чтобы они, в награду за его лечение и кормление, отдали мужику самое дорогое свое сокровище. Меньшая и средняя сестры отказываются и тотчас подвергаются за то жестокому наказанию. Поднявшись с мужиком в поднебесье, орел показывает ему с высоты два красных зарева: то горят дома этих двух сестер. Наоборот, старшая сестра являет в своем лице манию совершенной любви; по требованию орла она дарит мужику самое ценное, что у нее есть, — ларчик с золотыми ключами; коли его отворять, из него выходит золотой волшебный город. И говорит орлу сестра: «Хоть дорог мне ларчик, а брат дороже» ^[61].

Это новое жизнечувствие зарождается в человеке под впечатлением всеобщего разлада и раздора, царящего в мире. Кровавая борьба всех против всех в мире животном — зрелище для нас привычное повседневно наблюдаемое, и человек обыденный мирится с ним, как с чем-то нормальным и должным. Наоборот, сознание сказочное от него отталкивается и выражает свое возмущение в поэтических образах, проникнутых чувством глубокой жалости к низшей твари.

Вот, например, изображение этой всеобщей войны в мире: «Жили–были мышь с воробьем, ровно тридцать лет, так дружно, кто что найдет — все пополам. Раз воробей нашел маковое зернышко. Что тут делать, подумал он: раз куснуть нет ничего. Взял да и съел один зернышко. Спознала про то мышь и не захотела больше жить с воробьем: давай, говорит ему, драться не на живот, а на смерть. Пошли драться звери и птицы; победили Птицы, но в бою был ранен птичий царь — орел... Пытал было, сердечный, подняться в высь, да силы не хватило; только и смог, что взлетел на сосну и уселся на верхушке. Хотел убить орла охотник, но тот к нему взмолился голосом человеческим и был взят на прокормление» [62].

Все отношение к животному царству в сказке преобразуется и из эгоистически–утилитарного становится дружественным. Всякая тварь молит человека о пощаде и помощи понятным ему «голосом человеческим», как всем известная «золотая рыбка». И человек связывается с тварью прочною связью взаимного сострадания и сорадования. Голодному Ивану–Царевичу попадается навстречу заморская птица с птенцами. Иван–Царевич говорит: «Съем–ка я одного цыпленочка». А она ему: «Не ешь, Иван–Царевич, в некоторое время я пригожусь тебе». Та же просьба повторяется, когда Царевич хочет взять у пчелки меда и съесть, у львицы — львенка; о том же просят в критическую минуту в других сказках бесчисленные звери: щука, рак, птица. Приходит минута крайней нужды или опасности для Царевича — тотчас все звери начинают радеть о его спасении: и птица, и пчелка, и львица его будят, исполняя службу под угрозой смерти, наложенной на него бабой–ягой [63]. Даже рак, движимый чувством благодарности к пощадившему его стрельцу–молодцу, достает для него, когда нужно, со дна моря, из–под великого камня, подвенечное платье Василисы Царевны [64]. На этой же благодарности за пощаду основаны все те сказки, где герою дается благосостояние и счастье «по щучьему велению» [65].

В бесчисленных сказочных образах воспроизводится это душевное движение жалости, которое торжествует над животным эгоизмом. И жалость к «меньшей братии» не ограничивается тем, что человек воздерживается от ее истребления и пожирания. Животные ждут от него, *чтобы он дал им новый закон жизни, чтобы умиротворил и их взаимные отношения.* На эту тему есть в сказке много интересных

вариантов. Идет по полю Федор Тугарин и видит, волки бьются из-за кости; он им поделил. Дальше видит он — пчелы бьются из-за меда, раки бьются из-за икры; он и им поделил. Звери за то благодарили и спасли Федора от гибели, уготовленной ему бабой–ягой [66]. В другой сказке царевич, поделивший падаль зверям, птицам, гадам и муравьям, за эту услугу получил от них волшебный дар — оборачиваться, по желанию, ясным соколом или муравьем [67]. Тут мы видим чудесное сочетание магии с симпатией: человек получает дар перевоплощаться в образ той самой твари, которую он пожалел.

Сознание единства всей твари в радости и печали вызывает тот коренной перелом в человеческом настроении, который выражается в сказке о Царевне–Несмеяне. Жила она — красовалась «в царских палатах; в княжких чертогах, в высоком терему». Какое ей было житье, какое приволье, какое роскошь! Всего много, все есть, что душа хочет; а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось. Царь–отец обещал отдать в жены Несмеяну тому, кто сумеет ее развеселить, но никому это не удавалось. В том же царстве был–жил честный работник, который одного боялся — получить лишнее за свой труд и за три года труда взял с хозяина всего три копейки. Попросила у него мышка: «Ковалек, ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сама пригожусь». Дал он ей денежку. Потом попросил того же жук лесной, и сом водяной; работник и им роздал по денежке. Потом очутился он пред царскими палатами, «у окна Несмеяна–Царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон, и упал он прямо в грязь. Откуда ни взялся сом с большим усом, за ним жучок–старичок, мышка–стрижка: все прибежали, ухаживают, ублаживают: мышка платице снимает, жук сапожки очищает, сон мух отгоняет. Глядела, глядела на их услуги Несмеяна и засмеялась. — Кто, кто развеселил мою дочь, — спрашивает царь. Тот говорит: я; другой: я. Нет! — говорит Несмеяна–царевна: — вот этот человек! — указала на работника» [68].

Одно и то же страдание, один и тот же плен гнетет и бессловесную тварь, я человека; отсюда своего рода круговая порука, их связывающая; с одной стороны, человек освобождает животное — «отпускает его на волю» или избавляет от заклятия; с другой стороны, когда человек попадает в плен враждебным ему злым силам, он не

может освободиться без содействия животного. С этим связана склонность видеть в животном *оборотня*, т. е. своего же брата человека, который томится в зверином образе до поры, до времени, пока не явится добрый человек–освободитель, который его пожалеет, или доколе не исполнится срок заклатья. Наиболее ярким выражением этой мысли служит сказка о Царевне–Лягушке, коей жизнь таинственною связью связана с судьбами Ивана–богатыря. «Слушай, — сказала ему лягушка, — стрела твоя попала ко мне, ты должен взять меня замуж; а не возьмешь за себя — не выйдешь из этого болота». И с помощью лягушки богатырь отбывает положенную службу, по совершении которой и он освобождается, и она возвращается в свой человеческий образ прекрасной царевны» [69].

Мне нет надобности напоминать о бесчисленных вариациях на ту же тему, которые имеются у всех народов. Есть общеизвестные образцы таких сказок об оборотнях: их всякий без труда может припомнить. Здесь важно вскрыть лишь то общее переживание духовного опыта, которое выражается во всех этих образах. Это прежде всего живое, непосредственное *ощущение единства мировой жизни в человеке и в животном* [70]. С одной стороны, человек чувствует в себе животное, ощущает непрерывную и страшную возможность впасть в животный мир, завывать по волчьи, захрюкать свиньей, или гадом поползти по земле. С этой точки зрения оборотничество выражает собою великую жизненную правду. *Зверочеловечество* есть реальный факт нашей жизни: в мире подчеловеческом действительно есть та темная бездна, которая нас в себя втягивает. Помимо оборотней есть и другое напоминание об этой опасности — образы получеловеческие, полузвериные, которые встречаются в изобилии в мифологиях и сказках всех народов: сатиры и лешие с козлиными рогами и копытами, русалки с рыбьими хвостами, кентавры и т. п.

В своем стремлении прочь от этой бездны падения человек ощущает не свое только человеческое усилие, а общее стремление жизни, в котором заинтересовано всякое дыхание, ибо весь мир стремится подняться над собою в человеке и через человека. Это участие всей твари в подъеме человека к неизреченному великолепию — один из наиболее ярких и любимых мотивов русской народной сказки.

Иван–Царевич ищет возлюбленную «Ненаглядную Красоту», и вся тварь призывается к участию в его искании. Его стремление и его — подъем к красоте рассматривается сказкою как что-то всему живому близкое и нужное, за что вся тварь призывается к ответу. Допрашивает он о местопребывании возлюбленной вещую старуху, а у старухи «есть на то ответчики: первые ответчики — зверь лесной, другие ответчики — птица воздушная, третьи ответчики — рыба и гад водяной». Встала старуха раненько, умылась беленько, вышла с Иваном–Царевичем на крылечко и скричала богатырским голосом, сосвистала молодецким посвистом. Крикнула по морю: «Рыбы и гад водяной, идите сюда». — Тотчас сине море всколыхалось, собирается рыба большая и малая, собирается всякий гад, к берегу идет — воду укрывает. Спрашивает старуха: «Где живет Ненаглядная Красота, трех мамок дочка, трех бабок внучка, девяти братьев сестра?» Отвечают все рыбы и гады в один голос: «Видом не видали, слыхом не слыхали!». Крикнула старуха по земле: «Собирайся, зверь лесной». Зверь бежит, землю укрывает, в один голос отвечает: «Видом не видали, слыхом не слыхали!». Крикнула старуха по поднебесью: «Собирайся, птица воздушная». Птица летит, дневной свет укрывает, в один голос отвечает: «Видом не видали, слыхом не слыхали!». «Больше некого спрашивать», — говорит старуха. Взяла Ивана–Царевича за руку и повела в избу; только вошли туда, налетела Моголь–птица, пала на землю — в окнах свету не стало. «Ах ты, птица Моголь? Где была, где летала, отчего запоздала?» «Ненаглядную Красоту к обедне снаряжала» [\[71\]](#).

Здесь перед нами раскрывается еще одна черта «иноного царства». Оно есть прекрасное, неизреченное, чего ни тварь земная, ни люди не ведают, и вместе с тем то, чего весь мир ищет, чему всякое дыхание покоряется. Знает путь к этому царству одна Моголь–птица, и помимо этого крылатого гения никто не в силах поднять туда человека.

V. Искатели «иноного царства».

Богатырь и дурак в сказке

Другое яркое отражение искомого «иноного царства» — самый образ его искателя. Мы оставим здесь в стороне те вульгарные типы искателей из кабацкой голи, воров, бездельников и дезертиров, о которых речь шла выше, и займемся лишь теми, которые так или иначе возвышаются над средним житейским уровнем.

Препятствия, отделяющие человека от предмета его, искания, преодолеваются либо силой, либо мудростью. Соответственно с этим среди ищущих «иноного царства» выделяются в особенности два типа — *богатыри и вещице*. Мы займемся сначала первыми. С образом богатыря обыкновенно сочетается мысль о человеке, который борется с многочисленными врагами и побеждает их сам собственным своим человеческим подвигом силы и бесстрашия, большею частью без всякой посторонней и, в частности, без чудесной помощи. Таковы богатыри русской былины Илья Муромец, Добрыня, Никита Кожемяка и т. п. Так, однако обстоит дело лишь до тех пор, пока мы имеем дело *сбылиной* в собственном смысле слова, т. е. с таким рассказом, в котором передается быль естественная, а не магическая. Но как только в рассказ вторгается чудесное, сказочное в собственном смысле слова, образ былинного богатыря подвергается заметному видоизменению. Вступая в соприкосновение с волшебной силой, изменяющей законы естества, богатырь в большей или меньшей степени подчиняется этой силе, становится как бы ее орудием. Тогда его личный подвиг отходит на второй план.

Грань между сказкою и былиной не отличается строгостью и неподвижностью: она нередко нарушается вторжением сверхъестественного, сказочного в былинку; тогда тем самым изменяется облик и в особенности значение богатыря. Есть, например, рассказы, где самая сила Ильи Муромца приобретает характер сверхъестественный. Тогда эта сила понимается как что-то постороннее самому богатырю; она вливается в него извне, через чудесный напиток; в связи с этим в богатыре появляются черты,

указывающие на ослабление его человеческой энергии: лежанье на печи, неделанье.

По одной сказочной версии, Илья Муромец до 18-летнего возраста не мог ходить, по другой, «тридцать лет, от самого рождения, сидел он сиднем, не двигаясь». Сжалился над ним старец Божий, странник, которому Илья подал милостыню, исцелил его и дал ему выпить до дна ковш воды, и опять посылает он за водою: «Опять сходи, принеси другой ковшик воды». Шедши он за водою, за которое дерево ни ухватится — из корню выдернет. Старичок Господень и спрашивает у него: «Слышишь ли теперь в себе силу?» «Слышу, старичок Господень! Сила теперь во мне есть большая: кабы утвердить в подвселенную такое кольцо, я бы смог поворотить подвселенную». И старец, опасаясь, что такой силы «земля не снесет», дает Илье выпить еще, чтобы поубавить у него силы ^[72].

В жизни Ильи Муромца это вторжение сверхъестественного — изолированное явление. В общем в ней все естественно, все говорит о торжестве человеческой мощи, о напряжении и действительности индивидуальной, личной воли человека. В сказке мы видим иное. Здесь открывается другой волшебный мир, где бессильно все естественное; тут человек ясно видит предел своей человеческой мощи, как бы велика она ни была, и чувствует превосходящую его сверхъестественную силу, перед которой — ничто величайшие из богатырей.

Сказке хорошо знаком тип былинного богатыря; в ней часто повторяются излюбленные формулы былины о его силе: кого он в ногу ударит — нога прочь, кому в руку — рука прочь, кому в голову — голова прочь ^[73]. Есть в сказке типические рассказы о том, как богатырь тешится над медведем, возит на нем дрова, о том, как он один побивает многочисленное неприятельское войско ^[74], о том, как он ударом палицы убивает одного за другим трех могучих богатырей или расправляется один с двумя дюжинами разбойников. Но не эти проявления богатырской силы и богатырской удали составляют в сказке центр тяжести, а тот таинственный предел, где человеческая сила обращается в ничто. Становясь лицом к лицу с сверхъестественным, человек проникается сознанием своей беспомощности. Своего брата богатыря можно победить в поединке, можно справиться с целой ратью и даже с многоглавым змеем о шести

или девяти головах, но когда богатырю приходится иметь дело с двенадцатиглавым змеем, в душу рассказчика уже закрадывается сомнение: по одним рассказам змей ранит богатыря в руку [75], а по другим — змей начинает одолевать Царевича, и тот спасается благодаря сверхъестественному заступничеству его выручает то «мужичок — руки железны, голова чугуна, сам медной» [76] либо вещей конь, дающий мудрый совет [77], то чудесная охота — подарок бабы-яги [78], то какие-либо другие волшебные союзники. Богатырь не в силах справиться в открытом бою со стерегущим тридесятое царство великаном, и в ответ на его окрик: «Куда, червяк, едешь», Иван-Царевич сворачивает в сторону: он достигает цели *магическим путем*, благодаря содействию старухи, которая дает ему волшебное зелье да клубочек [79]. При встрече с Норкой-зверем и вихрем, похитившим Настасью Золотую Косу, богатырь опять-таки не надеется на свою человеческую силу и вынужден подкрепить себя волшебным напитком — сильною водою [80].

Словом, в сказке человек ежеминутно сталкивается с напоминаниями о каком-то роковом для него пределе. Его зависимость свыше выражается в разнообразных образах. Прежде всего, чтобы привлечь на свою сторону сверхъестественные силы или обезопасить силы, ему враждебные, человек должен *знать их тайну*. Отсюда его зависимость от знающих волшебную науку — *ведунов*, по преимуществу старцев или вещей старух; они научают его как обойти препятствие [81], как достать «живую воду» [82] или как спастись от преследования мчащейся на шестикрылом коне страшной ведьмы [83], от них же герой получает в подарок нужные для его успеха или спасения волшебные предметы — кубок да зелье [84], либо щетку, кремешок да «площадку» (огниво). Когда погоня близка, щетка превращается в непроходимую чащу, кремешок — в гору каменную от земли до неба, а огниво — в реку огненную [85].

Мы уже говорили о помощи вещей зверей, без коих сказочный герой не может ступить ни шагу: стережет ли он лошадей бабы-яги, исполнял положенную ему службу, ему помогают: львица, пчелка, да птица заморская [86]. Нужно ли ему победить трехглавого змия, он, пользуясь даром вещего сокола, сам оборачивается соколом и снимает со змия три головы [87]. Велит ли стрельцу царь искупаться в кипятке,

его заговаривает богатырский конь, чтобы кипяток не повредил его белому телу [88].

Необходимость чудесной помощи обуславливается самым свойством магических задач сказочного героя. Победить Кащея Бессмертного может лишь тот, кто знает, где смерть Кащея; а этой тайны нельзя разведать без помощи вещей жены; чтобы достать яйцо, где эта смерть таится, нужна помощь чудесных зверей: волка, вороны, да щуки [89]. Многочисленны случаи, когда сказочные герои попадают в плен к какому-нибудь царю, который под страхом смертной казни налагает на него явно неисполнимые задачи: построй за одну ночь мост, одна мостина золотая, другая серебряная; сделай за единую ночь, чтобы по обе стороны моста росли яблони со спелыми яблочками, да на тех яблонях пели бы птицы райские; пойди на тот свет к моему отцу–покойнику, да спроси его: где деньги спрятал. Или, наконец: «пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Бессилие героя исполнить все эти требования обыкновенно подчеркивается его обильными слезами. Но у него есть спутник, вещая жена; она спрашивает: «О чем плачет сердечный друг». Дает ему мудрый совет, а еще чаще сама делает нужное для него дело. «Не кручинься, — говорит, — молись Богу, да спать ложись; к завтраму все готово будет» [90].

Тут все характерно: и этот образ плачущего Геркулеса, и волшебство, которое буквально усыпляет его энергию, и воплощение мудрости в женственном существе, о чем красноречиво говорят самые названия сказок — «Василиса Премудрая» и «Мудрая жена». Избранник этой магической мудрости обрекается на совершенно пассивную роль: от него требуется только безграничное доверие, покорность и преданность той высшей силе, которая его ведет. Личные свойства героя, его сила и ум тут не играют никакой роли. Его человеческое дело в сказке — ничто; также и его рассудок, ибо с точки зрения магической поступок, который кажется людям безрассудным, нередко оказывается самым мудрым. Неудивительно, что рядом с богатырем, героем сказки, является существо совершенно лишенное всякого человеческого ума — дурак. Именно в его человеческом безумии познается сила высшей мудрости. Поэтому дурак оказывается сказочным героем по преимуществу, предпочтительно перед богатырем. Иногда, впрочем, ступшевывается грань между этими двумя

типами: черты богатыря и дурака сочетаются в одном лице. И слияние это совершенно естественно. Перед лицом высшей чудесной мудрости оба оказываются одинаково неумными и беспомощными.

Фигура дурака, который с видимым безрассудством сочетает в себе образ вещего, составляет один из интереснейших парадоксов сказки, притом не одной русской сказки, ибо образ вещего безумца или глупца пользуется всемирным распространением: «священное безумие» известно еще в классической древности. Тайна этого парадокса у всех народов одна и та же: она коренится в противоположности между подлинною, т. е. *магическою*, мудростью и житейским здравым смыслом: первая представляет собою полное ниспровержение и посрамление последнего. Образ «дурака» как бы вызов здравому смыслу. Поэтому, в зависимости от того, как оценивается здравый смысл, и отношение к дураку не может быть одинаковым. В сказке вообще и, в частности, в русской сказке мы находим две диаметрально противоположные его оценки. Есть вульгарные, рассудочные рассказы и анекдоты о дураке, без примеси чего-либо волшебного: в них дурак играет роль шута и служит всеобщим посмешищем. Это жалкое существо, всех раздражающее нелепыми поступками, всеми битое и потому вечно плачущее^[91]. Но как только сказка вступает в соприкосновение с чудесным, отношение к дураку в корне меняется: дурак окружается почетом и посрамляет насмешников. Народная мудрость чует, что «иная простота бывает не без хитрости»^[92] и сказка дает об умственных способностях дурака характерный отзыв: «Ванюша не хитёр, не мудёр, а куда смысловат»^[93].

Внешнее отличие этого героя от всех прочих людей есть прежде всего видимая несуразность речей и крайняя безрассудность поступков. Одна из характерных черт его — *неведение*. О чем бы его ни спросили, даже о — том, как его по имени зовут, у него один ответ: «не знаю». Отсюда ряд сказок, где он величается прозвищем «Незнайко»^[94]. С незнанием у него связывается и другая любимая черта народного героя — *неделание*. В сказках часто рассказывается о том, как дурак «работать не работал, все на печке лежал» или «мух ловил», как он в начале своего жизненного поприща прогулял все свои деньги с пьяницами^[95]. Поступки дурака всегда опрокидывают все расчеты житейского здравого смысла и потому кажутся людям

глупыми, а между тем они неизменно оказываются мудрее и целесообразнее, чем поступки его «мудрых» братьев. Последние терпят неудачу, а дурак достигает лучшего жребия в жизни, словно он *угадывает* мудрость каким-то вещим инстинктом. Другие рассудительные люди возлагают свои упования на денежную силу; дурак же цены деньгам не знает, золото не ставит ни в грош; часты случаи, когда в уплату за произведенную работу он берет вместо денег котенка да щенка. Приходит время, и оказывается, что котенок, да щенок и впрямь для него куда нужнее золота; они спасают ему жизнь, выручают его из плена и возвращают ему похищенный у него волшебный перстень о двенадцати винтах [96]. В другой сказке дурак продает все свое достояние (быка) березе; воры похищают быка, дурак рубит березу топором за неуплату условленных денег; и вдруг в дупле березы оказывается зарытый разбойниками богатый клад [97]. В третьей обменяет пару волов на телегу, телегу на козу, козу на кошелек, а кошелек отдает перевозчикам и бьется об заклад, что его за это хозяйка не заругает; в заключение выигрывает заклад, забирает условленный выигрыш, двенадцать фур с солью и с волами; таким образом ряд нелепых поступков служит началом его обогащения [98]. Иногда «глупость» в рассказе оказывается «хитростью».

Посылает царь своих зятьев добыть волшебных животных; достает их дурак, а умные, потерпевшие неудачу, покупают у него добычу; дурак вместо денег берет с них «по мизинцу с ноги»; когда умные начинают хвастать перед царем удалью, дурак показывает их отрубленные пальцы и тем разоблачает их обман; он получает от царя все царство, а умные за обман наказываются смертью [99]. Вообще случаи торжества глупости имеются в сказке в великом изобилии, причем дурак побеждает хитростью сравнительно редко: в большинстве случаев нелепые поступки, ведущие к счастью, совершаются вопреки всяким расчетам, словно по какому-то наитию или по чьему-либо внушению. Есть одна черта, общая всем подобным рассказам, *недоверие к расчетам здравого смысла*. И в сказке волшебной в собственном смысле слова эти расчеты посрамляются не человеческим умом, а высшею магическою мудростью: дурака выручают из трудных положений то вещице люди [100], то вещице животные [101], то волшебные предметы [102]. Дурак является любимым

героем сказки именно потому, что в человеческий ум она не верит. Когда, собираясь в дальний путь–дорогу совершить подвиг, он избирает явно негодные для того средства, умные спрашивают: «Что ты, дурак! Куда собираешься? Аль людей смешить?» А он им в ответ: «Про то я знаю! Умным — дорога и дуракам — путь не заказан». И путь «умных» неизменно приводит к провалу, а путь дурака доводит до цели.

Эта мудрость, руководящая дураком, высказывается в сказке «Волшебное Кольцо» устами змеи, которую он спас из пламени: «Ну, спасибо, — говорит, — Иванушка! Сослужил ты мне великую службу, сослужу я тебе еще и больше того! Пойдем, — говорит, — к моей матери; будет она тебе давать медные деньги — ты не бери, потому что это уголья, а не деньги; будет давать серебряные — также не бери, то будут щепки, а не серебро; будет выносить тебе золото, и того не бери, потому что вместо золота будет черепае да кирпич; а проси ты у нее в награду перстень о двенадцати винтах» ^[103]. Иначе говоря, подлинная ценность — только магическое, *волшебное*, мудр только тот, кто за эту непонятную рассудку ценность отдает все на свете; это и есть тот, кто с *жизнейской* точки зрения признается дураком.

Так как от природы дурак лишен мудрости, и мудрость, которая им руководит, для него *не своя*, она в сказке нередко и внешним образом от него отделяется, олицетворяется другими существами, которые подчиняют себе волю дурака, направляя ее внушениями. Эти руководящие силы являются то в звериных, то в человеческих образах: то это змея, то «сивка–бурка, вещая каурка», то вещей волк, то существо человеческое.

В отрицательных свойствах сказочного героя, в его немоции, неведении, безумии обнаруживается некоторое отрицательное определение искомого им «нового царства». Оно есть *запредельная* человеку сила и мудрость. Именно этим обуславливается торжество человеческого безумия в сказке, превознесение дурака над сильными и мудрыми в человеческом значении этого слова. Но рядом с этим в том же стремлении искателей открывается и положительные черты искомого: их человеческое безумие ищет той «целящей воды», которая воскрешает умерших, возвращает жизнь распавшемуся на части — человеческому телу: ему нужны «молодильные яблоки», которые возрождают утраченную

молодость, нужна «жар–птица», олицетворение той запредельной полосы, где солнце не заходит, живой образ *света*, долженствующего наполнить человеческую жизнь; нужна вообще иная природа, где дерево поет, а птица говорит [\[104\]](#). Словом, с мыслью об «ином царстве» связывается мечта о полном преобращении закона естестве, о полной победе «магии над старостью, болезнью, смертью, о совершенном одухотворении мира животного и растительного к этой цели в русской сказке ведет не столько подвиг и доблесть мужа, сколько мудрость его жены. Характерно, что мудрость олицетворяется не мужским, а по преимуществу женственным образом. Именно женскому началу принадлежит здесь центральная руководящая роль. Поэтому необходимо внимательнее присмотреться к этим женским спутницам сказочных героев.

VI. Женственные воплощения сказочной мудрости

Мудрость в сказке олицетворяется преимущественно двумя женскими типами — вещей старухой и вещей невестой. Иногда мудрый совет дается устами старика, но эти ведуны мужского пола сравнительно редки и в общем бледно очерчены; образ вещей старухи в сказке куда ярче и значительнее; и встречается он в общем много чаще.

Старухи — руководительницы героя — носят разные названия: то это — баба-яга, которая в этом случае утрачивает свой облик злой и враждебной человеку ведьмы, то «бабушка-задворенка», то просто старуха. Обыкновенно эта старуха — носительница не только мудрости, но и *власти*, которая дается ей знанием. У нее имеются не только волшебные предметы, которыми она снабжает героя: ей повинуются волшебные животные, а иногда эта власть над живою тварью приобретает характер космический, как в приведенном примере, где вещая старуха, разыскивая для Царевича «Ненаглядную Красоту», призывает к ответу и зверей, и птиц, и рыб, и гадов морских. По словам ее младшей сестры, *«что ни есть на белом свете, все ей покоряется»*. Оттого и голос у нее богатырский [105].

Образ вещей невесты представляет собою сочетание мудрости и власти над тварью не в меньшей степени. За «Ненаглядную Красоту» вся тварь ответственна, и Василисе Премудрой все повинуется: по ее мановению муравьи ползучие молотят несчетные скирды, пчелы летучие лепят церковь из воска, бесчисленные работники-люди строят золотые мосты, да великолепные дворцы. Она сама может обернуться в любой образ твари [106]. Но с мудростью и властью в вещей невесте сочетается и красота, обладающая силою волшебного действия: «когда она рассмеется — то будут розовые цветы, а когда заплачет — то жемчуг» [107].

Силою этого очарования все на свете движется: к волшебной невесте направляется весь сказочный подъем, точно вместе с

влюбленным в нее царевичем вся тварь испытывает неудержимое к ней влечение.

В сказке всячески подчеркивается отдаленность расстояния, отделяющего волшебную невесту от ее искателя. Она живет либо на краю света, либо уносится в бесконечную даль похитителем–вихрем или Кащеем, либо пребывает у морского царя в подводном царстве. Так или иначе это всегда *красота запредельная*; но ей *самой* дана власть уничтожать бесконечное расстояние от посюстороннего, здешнего. В большинстве сказок, где она появляется, вещая невеста оборачивается птицей и залетает в доступные человеку страны; благодаря этому становится возможной первая встреча ее с женихом.

Описания этих встреч принадлежат к числу высших откровений сказочной символики. Обстановка их почти всегда одна и та же. Прилетают из дальних стран красные девицы то в виде уток, то в виде колпиц, то в виде голубиц — на озеро купаться, после чего они вновь из девиц оборачиваются птицами и улетают обратно. Жених подстерегает их на берегу, выбирает невесту и похищает оставленную ею одежду или крылья; тем самым он пленит ее, лишает возможности отлететь обратно и возвращает ей похищенное лишь под условием обручения. От того, удастся или не удастся этот подвиг герою, зависит весь его жребий — торжество или гибель: ибо все дальнейшее дело его жизни делается за него тою волшебною силою, которой он обручен.

«Слушайся меня, старухи, — говорит Ивану Царевичу ведунья. — Спрячься вон за тот куст смородины и притаись тихонько. Прилетят сюда двенадцать голубиц — все красных девиц, а вслед за ними тринадцатая; станут в озере купаться, а ты тем временем унеси у последней сорочку и до тех пор не отдавай, пока не подарит она тебе своего колечка. *Если не сумеешь это сделать, ты погиб навеки*» [\[108\]](#).

Дальнейшая история после обручения в великом множестве вариантов воспроизводит одну и ту же тему. Вещая невеста, которая затем становится женою, преодолевает все волшебные препятствия на пути суженого, выручает его из всякой беды, исполняет за него все наложенные на него «службы». Все последующее счастье его жизни добывается им не собственной силою и подвигом, а достается ему даром, как бы в виде приданого за женою.

Вся его задача сводится только к тому, чтобы сделать ее соучастницей своего плена, что достигается *через похищение ее*

крыльев. Этим он достигает цели своей жизни, жена освобождает и его, и себя, а он только плачет или по ее совету молится да спит.

От него требуется только верность той мудрости, которой он обручен, но и тут герой обыкновенно оказывается не на высоте своего признания. В этом та роковая опасность падения, которая грозит обратить в ничто весь подъем к чудесному, разрушить все волшебство сказки. Опасность эта живо чувствуется сказателями.

Как бы ни были велики препятствия на жизненном пути Ивана–Царевича, как бы ни были трудны возложенные на него задачи, над всеми трудностями неизменно торжествует вещая сила и мудрость его невесты; и она успокаивает его словами: «это не беда, а победка», или «это не беда, беда впереди будет». Но вдруг, достигнув предела в своем подъеме к чудесному, жених чувствует утомление и мечтает о возвращении домой, к родной действительности. «Что так грустен, Царевич», — спрашивает невеста. «Ах, Василиса Премудрая, сгрустнулось по отцу, по Матери, захотелось на святую Русь». И Василиса отвечает: *«Вот это беда пришла»*.

Беда заключается не в опасностях возвращения: над ними легко торжествует мудрость Василисы. Она обманывает посланную за ними погоню, оборачивая себя то смирной овечкою, то ветхою церковью, а Ивана–Царевича то старым пастухом, то стареньким попом. Когда их настигает сам Морской царь и оборачивается соколом, Василиса с женихом оборачиваются уткой да селезнем и спасаются от сокола, ныряя в озеро. Настоящая опасность угрожает не со стороны магии, а подкарауливает женихов в области житейской, дома, на святой Руси. Это опасность *забвения вещей невесты*. Во множестве сказочных вариантов она предостерегает жениха, чтобы по возвращении домой он никого не целовал, потому что всякий поцелуй отца, сестры, ребенка или кого-либо из домашних влечет за собою неизбежное забвение невесты. — «Ты меня забудешь, Иван–Царевич!» — «Нет, не забуду!» — «Нет, Иван–Царевич, не говори, позабудешь! Вспомни обо мне хоть тогда, как станут два голубка в окна биться!» Пришел Иван–Царевич во дворец. Увидали его родители, бросились ему на шею и стали целовать, миловать его; на радостях позабыл Иван–Царевич про Василису Премудрую. Только тогда вспомнил про нее, когда собрался жениться на другой и прилетели два голубка биться об окна его дворца. Тогда вернулся Царевич к чудесной возлюбленной [\[109\]](#).

VII. Христианское в русской народной сказке

Тут остается отметить еще одну ступень подъема сказки. Волшебное в ней еще не есть завершение чудесного. Есть одно последнее ее превращение, где сказочное принимает определенно религиозную, христианскую окраску. Совершается это тем легче, что в сказке чрезвычайно много сродного христианству. Трудно сказать, чем это объясняется, природным ли предрасположением к христианству народного гения, создающего сказку, или, наоборот, многовековым влиянием христианства на народную душу, а через нее и на сказку. Достоверно одно русские сказочные образы как-то совершенно незаметно и естественно воспринимают в себя христианский смысл. В некоторых сказках это превращение представляется вполне законченным; в других мы видим пестрое смещение христианского и языческого.

Мы уже видели, что в трудные минуты вещая невеста советует своему герою «молиться Спасу». Вполне естественно, что сказочный подъем к чудесному на высших своих ступенях превращается в подъем молитвенный. Когда сказочный богатырь проникается сознанием своего человеческого бессилия перед сверхъестественным, он тем самым уже явно приближается к идеалу христианского смирения. Поэтому в минуту, когда никакая человеческая сила не может спасти героя от неизбежной гибели, когда перед ним разверзается змеиная пасть «от земли до неба», у него сам собою вырывается возглас: «Господи, сохрани меня и спаси мою душу» ^[110]. Молитва разрушает чудеса черной магии, спасает от плена морского царя ^[111].

Просто и естественно совершается превращение волшебного в чудесное в христианском значении слова. Существует, например, целый христианский вариант известной народной сказки, где волшебная щука достается праведнику за усердную молитву. Щука исполняет всякие его желания, снабжает его в изобилии напитками да кушаньями, строит ему богатый дворец; но христианизация сказки выражается и тут в новой волшебной формуле, которую щука дает

своему повелителю: «только скажи, по щучьему велению, по *Божьему Благословению*, явись то-то и то-то — сейчас явится». Поэтому, когда «по щучьему велению» у царевны родится ребенок, он признается ребенком Божьим.

Так же легко христианизуются — в сказке и человеческие типы; в особенности просто и естественно сказочный «дурак» превращается в «блаженного» или юродивого. Превращение это — известно многим христианским народам. Так, в немецком сказании о Граале «чистый глупец» Парсиваль подвигом целомудрия превращается в блаженного и христианского подвижника. В русской сказке это превращение облегчается самым сходством между дураком и «блаженным». Общая черта того и другого — вешее безумие, отсутствие человеческого «здорового рассудка» и в то же время обладание иною чудесною мудростью. У дурака эта мудрость волшебная, а у юродивого «ум Христов», но в сказке легко стирается грань, отделяющая одно от другого; тогда в одном и том же лице смешиваются черты дурака и юродивого.

Совершается это очень просто — путем религиозного истолкования обычных речей и поступков дурака, вопреки житейскому здравому смыслу. Затрата всего состояния на кошку и собаку приводит его к счастью; и вот, истолкование придает этому странному поступку *оттенок прозорливости*. Обычная черта сказочного дурака — презрение к деньгам путем истолкования же превращается в *добродетель бессребреника*. Случайно ему достались за кота три бочонка золота — «Экая пропасть золота, куда мне с ним деваться», — подумал дурак и пошел по городам да селам оделять нищую братию; роздал два бочонка, а на третий купил ладану, сложил в чистом поле и зажег: воскурилось благоухание и пошло к Богу на небеса. Вдруг появляется ангел: «Господь приказал спросить, чего ты желаешь?» «Не знаю», — отвечает дурак и спрашивает совета у старца. А тот ему в ответ: «Коли тебе богатство дать, ты, пожалуй, Бога забудешь. Пожелай лучше жену мудрую» [\[112\]](#).

Тип «блаженного» вообще принадлежит к числу любимых в сказке; мы уже встретились с ним в рассказе о Царевне Несмеяне. Он же воспроизводится в поэтической сказке «Три копейки», где работник (а по другим вариантам мальчик-сиротинка) отказывается брать с хозяина более трех копеек вознаграждения за три года службы.

Получив условленную мзду, он бросает деньги в реку: «Если, — говорит, — я служил верой и правдой, то моя копейка не утонет. На третий год глянь — все три копейки поверх воды. Одну копеечку отдал работник купцу — в церкви свечку ставить; тот ее на полу оборонил, и «вдруг от той копеечки огонь возгорел»; — «люди взяли по свечке и зажгли от той копеечки». На вторую копеечку другой купец купил работнику кота, продал его в «ином государстве», за три корабля; а третья копеечка чудесно — воспламенилась в царском дворце и тем спасла царскую дочь от «Ерахты» (сатаны), пытавшегося ее похитить. Смещение различных планов нравственного сознания, христианского и сказочного замечается и тут. Юродивый уже здесь, на земле, получает награду, становится богачом и женится на царевне ^[113].

Земное счастье в конце рассказа составляет вообще обычное отличие этого сказочного стиля от церковного стиля «жития», коему благочестивая сказка видимо подражает.

Глубоко сродно христианству и любящее жалостливое отношение к животному миру. Тайна солидарности всей живой твари, открывшаяся сказателям, есть в тоже время одно из христианских откровений и, в частности, одна из любимых тем русского «жития святых». Неудивительно, что и здесь происходит слияние между сказочным и христианским. Благодарность животного человеку, его пожалевшему, в сказке благочестивой получает значение *Божьей награды*. Это также обычная черта повествований о сказочных блаженных в сказке «Три копеечки» сиротинка выкупает из жалости котенка, которого малые ребята мучают ^[114], сказке о Несмеяне работник, у которого одна забота — как бы перед Богом не согрешить, вознагражден за то, что роздал животным все свои денежки ^[115].

Самое существо христианства выражается в учении о всеобщем Воскресении, о вечной *целостной* жизни, в которой весь мир достигает совершенного и полного исцеления. Поэтому христианству не может не быть близко сказочное искание вечной молодости и живой воды, и «молодильные яблоки» и «вода целящая» суть как бы языческие, мифологические предваренья величайшего из христианских откровений. Поэтому неудивительно, что и здесь намечаются точки соприкосновения и как бы переходные ступени от сказочного к христианскому. Есть, например, сказка «О серебряном блюдечке и наливном яблочке» ^[116], одно из прекраснейших созданий

народного творчества, где рассказ о «живой воде» прямо-таки получает значение чуда в христианском смысле слова.

Героиня этой сказки — обиженная сестрами дурочка, блаженная, своего рода «золушка», всеми притесняемая и работающая за всех. Достается ей в руки чудесное блюдечко и наливное яблочко; сестры из зависти заманивают ее в лес и убивают. На могиле, в лесу вырастает тростинка, из тростинки пастушок делает дудку, а дудка сама поет и выговаривает: «Свет мой батюшка родимый! Меня сестры в лес зазвали, меня, бедную, загубили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко, не пробудишь ты меня от сна тяжкого, пока не достанешь воды из колодца царского». Отец достает у царя живую воду, оживляет дочь и идет с нею в царские палаты. И видит царь старика с тремя дочерьми: «едва за руки связаны, а третья дочь как весенний цвет, очи — райский свет, по лицу заря, из очей слезы катятся, будто жемчуг падают». И показывает блаженная царю чудеса, все его царство и весь мир на серебряном блюдечке, города, корабли, полки с воеводами. «Яблочко по блюдечку катится, наливное по серебряному; в блюдечке все небо красуется, солнышко за солнышком кружится, звезды в хороводе собираются. Царь удивлен чудесами, а красавица льется слезами, перед царем в ноги падает, просит помиловать: “Царь-государь, говорит она, возьми мое серебряное блюдечко и наливное яблочко, лишь прости ты сестер моих, за меня не губи ты их”».

Тут христианство выражается не в отдельных чертах и подробностях, а во всем жизненчестве сказки. Вообще христианское жизненчество проникает в сказку очень глубоко: оно сказывается и там, где оно не с первого взгляда бросается в глаза. В частности, недаром Василиса Премудрая учит своего суженого молиться: в самом отношении сказочного героя к высшей мудрости, которая им руководит, есть столько близкого и сродного христианству, что предположение о влиянии, о бессознательном проникновении христианских идей и в особенности чувств в сказку возникает само собой. Отзвуки христианства чувствуются и в глубоком сознании человеком своего ничтожества, и в беззаветной отдаче себя высшей чудесной силе, и в самом образе вещей невесты, которой он обручен. Сочетание в едином женственном образе высшей премудрости красоты и власти над всею тварью чрезвычайно напоминает тот лик Софии-Премудрости Божией, коим вдохновлялись наши отдаленные

предки — строители Храмов и иконописцы. Во всяком случае, в лице Василисы Премудрой, Мудрой жены и Ненаглядной Красоты воплотились те искания человеческой души, которые в образе Софии находят себе высшее, полное удовлетворение в отдельных случаях трудно решить, где кончается *сказочное предварение* христианского откровения и где начинается прямое влияние этого откровения на сказку. Одно представляется несомненным — сказка заключает в себе богатое мистическое откровение, ее подъем от житейского к чудесному, ее искание «инога царства» представляет собою великую ценность духовной жизни и несомненную ступень в той лестнице, которая приводит народное сознание от язычества к христианству.

VIII. Заключение

Знакомство с этими великими достижениями народного творчества представляет важный шаг в народном самопознании. В сказке мы находим не только подлинное откровение «иногo царства», которое составляет предмет искания всех народов, но вместе с тем и некоторое особенное *национальное преломление* этого вселенского откровения в этом преломлении мы узнаем народную душу со всеми ее качествами и недостатками. Как же отразилась русская душа в Русской народной сказке?

Есть две черты, которые в ней поражают: с одной стороны — глубина мистического проникновения в жизнь, головокружительная высота полета, с коей открываются сказочные красоты вселенной, а с другой стороны — *женственный характер* этих волшебных грез. В русской сказке мы имеем яркий образец *мистики пассивных переживаний* человеческой души.

Не случайно именно женский образ вещи невесты господствует в этой сказке, олицетворяет собою ее высшую ценность и высшую вершину ее творчества. В ней выражается по преимуществу *женственное мирочувствие*. Здесь человек необыкновенно сильно чувствует превосходящую его чудесную силу, те могучие крылья, которые уносят его прочь от житейской низменности, — ту магию, которая превращает его из жалкого дурака в сказочного красавца, и тот нездешний ум, который восполняет его человеческое безумие и незнание. Иначе говоря, он интенсивно воспринимает то *действие сверху* той чудесной силы, которая залетает из запредельной дали в низины здешнего, чтобы унести и поднять его оттуда в заоблачную высь.

Но рядом с этим в русской сказке необыкновенно слабо выражено *действие снизу*. В ней сказывается настроение человека, который ждет всех благ жизни свыше и при этом совершенно забывает о своей, личной ответственности. Это тот же недостаток, который сказывается и в русской религиозности, в привычке русского человека перелagать с себя всю ответственность на широкие плечи «Николы-угодника». Превознесение дурака над богатырем, замена личного

подвига надеждой на чудесную помощь, вообще *слабость волевого героического элемента*, таковы черты, которые болезненно поражают в русской сказке. Это прелестная поэтическая греза, в которой русский человек ищет по преимуществу успокоения и отдохновения; сказка окрыляет его мечту, но в то же время усыпляет его энергию.

Имеем ли мы здесь общую всем народам черту? По-видимому, нет. Конечно, сверхъестественное, чудесное всегда и везде означает некоторый предел человеческого могущества и энергии, но предел, *граница*, отнюдь не означает *бездействия* человеческого естества. Мифология и сказка других народов знает случаи сопротивления человека чудесному, *богоборчества* или, наоборот, *содействия* человека сверхъестественной силе. В германской саге человек то борется со своими богами, то спасает их самих из трудного положения. Ничего подобного мы не находим в мифологии или сказке русской. Тут при встрече с чудесным человек как-то сразу опускает руки. Он испытывает очарование, восхищение, весь превращается в слух и зрение, весь отдается влекущей его вещей силе, но от этого созерцательного подъема не переходит к действию, а ждет неизреченного богатства жизни как дара свыше — от «щучьего веления», от серого волка, от вещего коня, от мудрой жены или от Божьей благодати. Оттого в русской сказке ярко выражены женственные качества души, поэтическая мечтательность, нежность, восторженность, переходящая в экстаз: а рядом с этим гамма мужественных тонов звучит в ней сравнительно слабо.

По-видимому, мы имеем здесь один из общих недостатков русского творчества. Сравните лучшие создания русской оперы с операми Вагнера: вас сразу поразит контраст между женственной русской мелодией и мужественными героическими мотивами Зигфрида или Валкирии. Черта эта находится в прямой зависимости от сказки, которою вдохновляется, с одной стороны, русская, а с другой стороны, германская волшебная опера. В сказке немецкой *подвиг героя есть все*: от подвига Зигфрида сами боги Валгалы ждут своего спасения. Соответственно с этим героический подвиг составляет пафос всей оперы Вагнера.

В русской волшебной опере мы видим как раз обратное. «Князь Игорь» и «Град Китеж» суть чудные поэтические элегии, вызванные чувством бессилия героя; а в лучшей из русских опер — в «Руслане»

— героическое совершенно утопает в волшебном. С этим связано поразительное отсутствие действия в этой опере. Слушатель все время находится под впечатлением какой-то отрешенной от жизни, дальней магии звуков, которая очаровывает, но в то же время убаюкивает. Отсюда та совершенно исключительная роль, которую играет волшебный сон в «Руслане». Здесь в каждом действии кто-нибудь спит на сцене. В первом действии Черномор усыпляет всех, во втором спит голова, в третьем без конца засыпает Ратмир, в четвертом Людмила, а в пятом спит Борислав и опять Людмила.

Вся опера производит впечатление чудного вещего сна, словно она задается целью дать наглядную иллюстрацию изречению Василисы Премудрой: не кручинься, все будет сделано, Богу молись, да спать ложись. Гениальнейшее из творений русской музыки служит, без сомнения, верным выразителем духа русской народной сказки.

По меткому выражению Соловьева, «сон — как бы окно в другой мир»; поэтому нельзя умалять значения и ценности воспринятых во сне откровений. Но жаль, очень жаль, когда откровение остается для человека, а тем более для народа — только сном, далеким от жизни и мало влияющим на поведение.

Если волшебная сказка дает ясный образ создавшего ее народа, то сказка вульгарная, житейская, дает злую, а иногда и меткую на нее критику. Карикатурно в русской вульгарной сказке ее увлечение *неделанием* в связи с утопией вора и лентяя, но бывают минуты, когда вся действительная жизнь народа становится злою карикатурой. Чтобы освободиться от этого наваждения, нужно восстановить тот подлинный образ души народной, которая ограждается в его карикатуре, и сознать нашу ответственность за его извращение.

Как бы ни были могучи дарования народного гения и как бы ни были глубоки его откровения, откровения эти бессильны и бесплодны, пока они остаются только мистикой пассивных переживаний. *<Эта мистика, не воплощающаяся в дело и ожидающая, только как свыше, того нового царства, которое силою берется, легко вырождается в вульгарную мечту о даровом богатстве, о «хитрой науке, чтобы можно было ничего не работать, сладко есть и пить и чисто ходить».>*

Мечта эта оказалась сильною в жизни именно оттого, что у нее есть глубокий мистический корень в русской душе. *<Связь между усыплением нашего народного духа и торжеством воровской утопии совершенно очевидна.>* Где светлые силы дремлют и грезят, там темные силы действуют и разрушают. *<И оттого-то современная Россия оказалась в положении человека, которого разворовали в глубоком сне.>*

Чтобы победить воровскую утопию «легкого хлеба», недостаточно ни созерцательного экстаза, ни парения над житейским, ни даже молитвенного подъема к святому и чудесному. Для этого нужно живое дело.

Мысль об «ином царстве» есть глубокое откровение нашего народного творчества. Но в жизни, как и в сказке, это откровение затемняется и заслоняется безобразною, кощунственною на него пародией.

Пародия будет побеждена, когда «новое царство» перестанет быть красивою мечтою, когда оно будет понято нами¹⁹²³ — народом>как призыв к труду и подвигу.

Комментарии

* Об этом Платон (устаами Сократа, передающего слова Диотимы) рассказывает в диалоге «Пир», 203 в–е. См.: *Платон. Собр. соч.* М., 1993, т. 2, с. 113.

Примечания

1

Публикацию «Литературной учебны» предваряет статья А. Налепина «Иллюзии “жирного царства”». В заметке от редакции сказано следующее: «В 1923 году в журнале “Русская мысль” (возобновленном издании под редакцией П. Струве) данная статья Е. Трубецкого напечатана полностью, без каких-либо цензурных изъятий». («Русская мысль», Прага–Берлин, 1923, № 1–2, с. 220–261). Публикуя по советскому изданию (М., 1922), редакция восстанавливает все цензурные сокращения по публикации в «Русской мысли» (они выделены курсивом и заключены в угловые скобки). Встречающиеся разночтения между двумя изданиями в основном носят редакционный характер: разная постановка абзацев, несоответствия в выделениях курсивом и разрядкой и т. п. Разночтения, имеющие содержательный характер, отмечаются прямо в тексте — в угловых скобках с пометкой «1923», (ЛУ, с. 100).

Примечания, за исключением отмеченных звездочкой, принадлежат автору.

Все ссылки на сказки даются по изданию: *Афанасьев А. Н.* Народные русские сказки. Т. I-II, М., 1987

2

Яркий пример такого совпадения между русской и норвежской сказкою приводится у Афанасьева в примечании к сказке № 66. (Правда и Кривда).

3

Иван Царевич и Марфа Царевна, № 68.

4

Медведко, Усыня, Барыня и Дубыня–богатырь

5

114, в. Сказка про утку с золотыми яйцами.

6

№ 88. Шабарша.

7

№ 179 (прим. к сказкам 178–179).

8

№ 178.

9

№ 179.

10

Поди туда, сам не знаю куда, № 122, d.

11

Летучий корабль, № 83.

12

Горе, № 171.

13

№ 165, а. Незнайко.

14

№ 79. Иван Сученко и Белый Полянин.

15

№ 230. Хорошо, да худо.

16

№ 140, с.

17

Образцом может послужить, например, приводимая у Афанасьева немецкая сказка Daumendick (Мальчик с пальчик). См. № 168, примечание.

18

В предисловии к его собранию сказок.

19

№ 140, с, Хитрая наука.

20

№ 88, Шабарша.

21

№ 897

22

№ 154, Береза и три сокола.

23

№ 84, а (ср. варианты d, с).

24

№ 100, а, в, Емеля дурак.

25

№ 219, а, в, с, d, e, f, g, h.

26

Правда и кривда, № 66, а.

27

Батрак, № 87.

28

Зорька, Вечерка и Полуночка, № 80.

29

Два Ивана — солдатских сына, № 92.

30

Горшня, № 186.

31

Мудрые ответы, № 187.

32

Королевич и его дядька, № 67, а.

33

Безногий и слепой богатыри.

34

Роза, № 113, б.

35

См., напр., Правда и Кривда, № 66, а, Сказка про утку с золотыми яйцами, № 144, б.

36

Окаменелое царство, № 153, б.

37

Поди туда — не знаю куда, № 122, с.

38

Доброе слово, № 192, с.

39

Солдат избавляет царевну, № 190.

40

Беглый солдат и чорт, № 91.

41

Окаменелое царство, № 153, а.

42

Незнайко, № 165, в.

43

№ 5, ср. Лиса Плачя, № 6.

44

Не любо — не слушай, № 231, с.

45

Незнайко, № 165, прим. См. у Афанасьева норвежский вариант на тот же сказочный мотив, № 69, прим.

46

Окаменелое царство, № 158, в.

47

Летучий корабль, № 83.

48

Незнайко, № 165, в.

49

Незнайко, № 165, примеч.

50

Заколдованная королева, № 152, а.

51

Зорька, Вечерка и Полуночка, № 80.

52

№ 152, b, Заколдованная королева.

53

№ 108, Жар–птица и Василиса Царевна.

54

Костомаров. Славянская мифология, с. 29 (т. е. Костомаров Н. Славянская мифология. Извлечение из лекций, читанных в университете св. Владимира во второй половине 1846 года. Киев, 1847).

55

Лихо одноглазое, № 170.

56

Известно, напр., что в сказках всех западных народов имеются семимильные сапоги (ср. № 108–109, примеч.). О валахских и немецких вариантах ковра самолета, ср. № 150, примеч.

57

Морской царь и Василиса Премудрая, № 125, вар. a, b, c.

58

Кощей Бессмертный, № 98, в.

59

Сказка о молодце–удальце и т. д., № 104, а. Ср. вариант и только что приведенную сказку, № 93, в.

60

Цитата из стихотворения А. С. Пушкина. «Пророк»(1826). *Пушкин А. С. Собр. соч. В 10–ти т. М.,1981, т. II, с. 87.*

61

Морской царь и Василиса Премудрая, № 125, в, с.

62

Морской царь и Василиса Премудрая, № 125, в, с.

63

Марья Царевна, № 94.

64

Жар–птица и Василиса Царевна, № 108.

65

№ 100 и 101.

66

Федор Тугарин и Анастасия Прекрасная, № 95.

67

Хрустальная гора, № 97.

68

Несмеяна–Царевна, № 166.

69

Царевна–Лягушка, № 150, прим.

70

Это же ощущение выражается и в тех сказках, где человеку открывается язык птиц, зверей и трав, № 139 и № 140.

71

Кащей Бессмертный, № 93. Такой же допрос зверей в сказке «Пойди туда — не знаю куда», № 122, а.

72

Илья Муромец и змей, № 175; ср. № 174, История о славном и храбром богатыре Илье Муромце (примеч.), ср. сказку № 80, где сила вливается богатырю («Зорьке») через волшебный напиток.

73

Надзей — попов внук, № 82.

74

Буря–богатырь Иван Коровий сын, № 76, ср. № 67, в.

75

Королевич и его дядька, № 67, в.

76

Иван Царевич и Марфа Царевна, № 68.

77

Сказка о молодце–удальце, № 104, е.

78

Звериное молоко, № 118.

79

Сказка о молодце–удальце, № 104, е.

80

Норка–зверь, № 78 и Три царства, № 71, в.

81

Сказка о молодце–удальце, № 104, б.

82

Сказка о молодце–удальце, № 104, б.

83

Сказка о молодце–удальце, № 104, а.

84

№ 104, б.

85

№ 104, е.

86

Морская царевна, № 94.

87

Хрустальная гора, № 97.

88

Жар–птица и Василиса Царевна, № 108, а.

89

Кащей Бессмертный, № 93.

90

Пойду туда, сам не знаю куда, № 122. Мудрая жена, № 123.
Морской царь и Василиса Премудрая, № 125, в.

91

Этот тип очерчен, например, в сказке «Набитый дурак», № 266, а,
в.

92

Незнайко, № 165, в, в подстрочном примечании.

93

Незнайко, № 165, б.

94

№ 165, б.

95

Незнайко, ср. № 100, 112 (вар. в прим.) № 224.

96

Волшебное кольцо, № 112, прим.

97

Дурак и береза, № 225.

98

Мена, № 228, б.

99

Свинка, золотая щетинка, утка, золотые перышки и т. д. № 106, б.

100

Мудрая жена, № 123.

101

№ 106, б, № 112, прим.

102

№ 112, прим.

103

Волшебное кольцо, № 112. Предостережение против обманчивой ценности золота есть в сказках других народов (напр., в Кольце Нибелунгов у немцев). Ср. рус. сказку «Жар–птица», № 103, и «Не бери золотого пера; возьмешь, горе узнаешь».

104

Поющее дерево и птица говорунья, № 160, а, б.

105

Кащей Бессмертный, № 93, б.

106

Ср. разнообразные варианты сказки № 126.

107

Поющее дерево и птица говорунья, № 160.

108

Морской царь и Василиса Премудрая, № 125, d.

109

Морской царь и Василиса Премудрая, № 125, d; a, b, e, f, g; ср. также Мудрая жена, № 123, Пойди туда — не знаю куда, № 122, a, b, c, d.

110

Покатигорошек, № 74, b.

111

Скорый гонец, № 145.

112

Мудрая жена, № 123.

113

Три копейки, № 124, b: ср. вар. а.

114

№ 124, а.

115

№ 166.

116

№ 187.